

Александр Эрот

Покорная игрушка для мужчин

18+

Александр Эрот

Покорная игрушка для мужчин

<https://litres.ru/74330994>

SelfPub; 2026

Аннотация

Девять ночей. Девять тел. Девять способов узнать, что ты жива — через чужую кожу, чужой пульс, чужое дыхание на своей шее.

Маре девятнадцать. У неё шрам на подбородке, куртка на три размера больше и колба с чужой памятью в руке. Она ныряет в затопленный трюм, бежит по горному карнизу, падает в расщелину и произносит вслух имя, которое запретили двадцать лет назад. Но прежде чем сделать каждый следующий шаг, она останавливается. И чувствует. Чужие пальцы на запястье. Чужие губы на виске. Чужое тело на песке, на глине, на камне, на чужих письмах в янтарном свете.

Это история о покорности. Это история о теле, которое выбирает. О женщине, которая ныряет не потому что её толкнули, а потому что хочет знать, что на дне. Которая касается не потому что ей позволили, а потому что хочет помнить кожей. Которая произносит имя не потому что должна, а потому что молчание убивает.

Девять мужчин и одна женщина. Девять способов дышать. Девять способов не быть стёртой.

Содержание

Пролог	4
Глава 1	11
Глава 2	17
Глава 3	25
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Александр Эрот

Покорная игрушка

для мужчин

Пролог

За год до трюма, за год до колбы и Седьмой двери, за год до имени, которое не произнесли, Мара была красивой восемнадцатилетней девушкой.

Лиссабон лежал на ней августовской жарой, плотной и влажной, как чужая ладонь, которую не просила, но не убиваешь, потому что в ней тепло, потому что в ней жизнь, потому что в Париже, в квартире Георга, в двадцати годах запретного имени и молчания, которое гуще любого воздуха, Мара задыхалась не от нехватки кислорода, а от нехватки чужой кожи, чужого пульса, чужого дыхания на своей щеке — всего того, что подтверждает: ты здесь, ты живая, ты не призрак в чужой квартире, не тень человека, который не произносит имя твоей матери.

Она вышла на крышу — с которой видно Тежу и мост, и огни на другом берегу, и небо, которое в августе висит низко и пахнет жасмином и солью, и терракотовую плитку, нагретую за день, за неделю, за всё лето, отдающую жар до рассвета.

та, живую, шершавую, тёплую, как тело, которое дышит.

Он лежал на спине. Руки за головой, глаза закрыты, рубашка расстёгнута до солнечного сплетения, босые ноги вытянуты, и пальцы ног шевелились медленно, как шевелятся пальцы во сне, когда тело живёт отдельно от разума, когда разум спит, а тело помнит что-то, чего разум не знает. Он лежал на тёплой плитке под тёплым небом и дышал — медленно, глубоко, всем животом, всем телом, как дышат те, кто никуда не идёт и не торопится, для кого это мгновение не мост к следующему, а само по себе достаточно, само по себе цель, само по себе жизнь.

Он открыл глаза и посмотрел на неё спокойно, без удивления, без смущения, без того движения, которое делают люди, застигнутые врасплох, — не сел, не прикрылся, не отвернулся, просто посмотрел, как смотрят на небо, на реку, на то, что приходит и уходит, и не требует объяснений.

— Здесь тепло, — сказал он, кто ты и зачем ты здесь и почему у тебя шрам на подбородке и почему у тебя глаза, которые ищут не то, что видят, а то, чего не видят.

Мара села на плитку в двух метрах от него, и жар вошёл в неё, и этот жар был как погружение, как возвращение, как то, что входит в тело полностью, без остатка, и становится частью его, становится самим телом.

— Ты не спишь, — сказала она.

— Не хочу.

— Я тоже.

Где-то внизу, в узких улицах Алфамы, кто-то пел фаду — голос тянул слова, как тянут нить из клубка, как тянут жилу из мяса. Жасмин пах густо, почти тяжело, и соль от реки ложилась на губы тонким слоем, и плитка грела, и небо держало, и город дышал внизу, огромный, тёплый, равнодушный, живой.

Он сел медленно, без суеты, и Мара увидела его лицо целиком, цвета ночи, которая не пугает, а держит, и глаза у него были спокойные, внимательные, глаза человека, который смотрит не для того, чтобы взять, а для того, чтобы увидеть, чтобы запомнить, чтобы признать.

Мара вдохнула — резко, глубоко, всем телом, как вдыхают после долгого погружения, как всплывают, как выныривают, и в этом вдохе был жасмин и соль, и плитка, и чужое тело рядом.

Он протянул руку и положил её на плитку рядом с собой, ладонью вверх, не берущей, а предлагающей, как предлагают воду тому, кто долго шёл по жаре, как предлагают место тому, кто долго стоял, как предлагают тишину тому, кто долго слушал крик. Это не было приглашением взять. Это было приглашением быть рядом.

Мара посмотрела на его ладонь и положила свою рядом, в миллиметре, в том расстоянии, которое ещё не прикосновение, но уже близость, ещё не контакт, но уже присутствие, ещё не тело в теле, но тело рядом с телом, и в этом миллиметре было больше, чем в любом объятии, потому что этот

миллиметр был выбором, был решением, было тем тихим внутренним движением, которое говорит: я хочу быть ближе, я хочу чувствовать твоё тепло, я хочу, чтобы между нами было не пустота, а воздух, нагретый двумя телами, двумя дыханиями.

Его мизинец коснулся её мизинца. И это прикосновение было таким тихим, таким невесомым, таким осторожным, что Мара почувствовала его не кожей, а чем-то глубже, тем местом, где живёт узнавание, где живёт память тела, где живёт то, что не произносят, но что есть, что было, что будет.

Она не убрала руку.

Мара наклонилась и поцеловала его мизинец. Потом обхватила его губами. И начала двигаться губами вверх вниз встав в провокационную позу. Потом она сказала. Поиграй со мной.

Его пальцы дрогнули, и он перевернул руку, ладонью вверх, открыл её, как открывают дверь, просто тело, которое говорит: я здесь, я открыт, я рядом, я не ухожу, я остаюсь. Я буду делать всё что ты захочешь. Ответил он.

Они легли на плитку, на тёплую, шершавую, живую, легли не торопясь.

Его губы коснулись её виска, потом он начал покрывать поцелуями её ноги, она стянула трусики давая доступ к центру своего удовольствия, и он начал покрывать его поцелуями, через секунду его язык заставил забыть её обо всём.

Она повернулась к нему всем телом, их пульс стал одним

пульсом, их кожа стала одной кожей, их тепло стало одним теплом, и это было не страсть, не голод, не желание, это была полная покорность от которой её тело наполнялось желанием. Она была готова для этого незнакомого мужчины на всё.

Его руки двигались по её телу медленно, не торопясь, не жадно, а с тем вниманием, с которым читают текст, который не хочешь пропустить, с которым касаются поверхности, которую хочешь запомнить, с которым ведут ладонь по карте, на которой каждая линия важна, каждая точка, каждая трещинка, каждая неровность, и Мара чувствовала его пальцы на рёбрах, на ключицах, на том месте у горла, где кожа тонкая и чувствуешь каждый миллиметр, каждую линию, каждый пульс, и это было не обладание, а чтение, узнавание, признание, и она выгнулась навстречу его ладони, от покорности, и от того, что тело само тянется к теплу, само тянется к рукам, само тянется к тому, что видит, что признаёт.

Она потянула его рубашку, и ткань подалась легко, старая, мягкая от множества стирок, и под ней было тело, тёплое, живое, настоящее.

Он вошёл в неё медленно, наслаждаясь её подчинением, она ответила не словами, а бёдрами, дыханием, тем, как её пальцы легли на его плечи, как её тело приняло его, как её пульс подстроился под его пульс, как её дыхание стало его дыханием, и они двигались не торопясь в том ритме, который не выбирают, а находят, как находят дыхание, в том месте, где два тела становятся одним дыханием, одним пуль-

сом, одним сейчас, одним есть.

Город пел внизу, фаду, далёкое и гортанное, живое и настоящее, и голос тянул слова, как тянут нить, как тянут жилу, как тянут имя, которое не произносят, но которое есть, которое болит, которое не отпускает, и жасмин пах густо, и соль ложилась на губы, и плитка грела снизу, и небо держало сверху, и их тела двигались в такт этому голосу, в такт этому жасмину, в такт этой соли, в такт этой плитке, в такт этому небу, в такт этому городу, в такт этой ночи, в такт этой жизни, которая не стирает, не вырезает, не замазывает, не забывает, не теряет, не отпускает, не уходит, не молчит, не боится, не подчиняет, не покоряет, не властвует, не обладает, а просто есть, просто здесь, просто дышит, просто живёт, просто будет.

Мара кончила тихо, не криком, не стоном, а долгим, дрожащим выдохом, в котором было всё, что она несла восемнадцать лет, всё молчание, всё запретное, всё одиночество в чужой квартире, и в этом выдохе она отдала всё и не потеряла ничего, и его тело содрогнулось следом, и его дыхание обожгло её шею, и его пульс забился в её висок, и они лежали, два тела на тёплой плитке, под тёплым небом, и этого будет достаточно.

Его рука лежала на её талии, и её щека лежала на его груди, и пульс бился под её кожей, ровный, тёплый, живой, и она слушала его, считала удары, и каждый удар был словом. Он поцеловал её в макушку, и это был не поцелуй страсти

а поцелуй признания, поцелуй присутствия, поцелуй того, кто видит, и Мара закрыла глаза, и в темноте за веками не было вспышки, не было воспоминания.

И она дышала. Впервые за восемнадцать лет дышала полной грудью, всем телом, всей кожей, всем пульсом, всем дыханием, всем именем, всем собой, не задыхаясь, не прячась, не ныряя, не падая, не всплывая, не возвращаясь, не ища, не теряя, не отпуская, не уходя, не молча, не боясь, не подчиняясь, не покоряясь, не властвуя, не обладая, не стирая, не вырезая, не замазывая, не забывая, не теряя, не отпуская, не уходя, а просто дыша, просто будучи, просто здесь, просто сейчас, просто есть, просто будет, просто не сотрут.

И этого было достаточно.

Глава 1

Она пришла в себя оттого, что вода ласкала её, как любовник, которому некуда торопиться. Холодная, чёрная, терпеливая — она поднималась по рёбрам, по груди, обнимала плечи, и Мара подумала, что в смерти есть нечто непристойно интимное, нечто такое, о чём не принято говорить вслух.

Зажигалка в её пальцах чиркнула раз, другой. На третий — вспыхнул огонёк, жалкий, оранжевый, и в его свете она увидела свои руки: чужие, тонкие, с обкусанными ногтями и шрамом на запястье, похожим на бледную змейку. Руки девятнадцатилетней девушки, которая ещё не знает, что тело — единственная карта, не способная солгать.

Вода была уже у подбородка. Солёная. С привкусом ржавчины и чего-то древнего, органического, как привкус чужой кожи. Мара прижалась спиной к переборке, и ржавчина вошла в лопатки тысячей мелких зубов, и эта боль была хорошей, настоящей, подтверждающей: ты ещё здесь, ты ещё в этом теле, ты ещё дышишь.

В левой руке, прижатой к груди, она держала колбу. Стекло было тёплым. Внутри, в мутноватой жидкости, пульсировало нечто живое — мягкое, фосфоресцирующее, размером с детский кулак. Оно светилось изнутри бледно-голубым, и этот свет ложился на лицо Мары снизу, делая его чужим, потусторонним, лицом утопленницы, которой забыли закрыть

глаза.

Наверху, в пробоине, сквозь которую сочилась ночь, стоял кто-то. Она видела край ботинка. Кожу, потемневшую от воды. Спокойную, неподвижную ногу человека, который никуда не спешит, потому что всё уже решено.

— Отдай колбу, Мара.

Голос падал сверху мягко, почти нежно, как падают лепестки в стоячую воду. Она узнала его.

— И я позволю тебе утонуть быстро.

Она рассмеялась. Смех вышел булькающим, мокрым, и кровь на её губах стала солонее. Зубы ныли. Куртка, чужая, огромная, пахла машинным маслом и кем-то другим, давно ушедшим, и этот запах был теперь единственным тёплым воспоминанием в ледяной воде.

— Знаешь, пап, — сказала она, и голос её был хриплый, низкий, голос женщины, которая слишком долго кричала. — Ты всегда говорил мне: никогда не доверяй карте, на которой нет твоего имени. Говорил это, застёгивая рубашку. Говорил, глядя в зеркало, как будто обращался не ко мне, а к собственному отражению, которое нравилось тебе больше, чем я.

Она подняла колбу выше. Существо внутри забилось о стекло — мягко, отчаянно, как бьётся мотылёк в ладонях ребёнка. Свет задрожал на стенах трюма, на воде, на её мокрых ключицах.

— А я нашла карту, где нет ничьего имени. Ни твоего.

Ни моего. Пустая земля, папа. И она ведёт туда, куда ты двадцать лет боялся смотреть.

Она разжала пальцы. Не резко — медленно, как отпускают то, что любила слишком долго. Колба ушла в воду беззвучно. Свет погас. И тьма стала полной, густой, бархатной, и в этой тьме Мара почувствовала, как вода сомкнулась над её головой, как сомкнулись бы веки.

И она нырнула. Не вверх, к небу, к ботинку, к голосу. Вниз. Вглубь. В затопленный коридор, где, по всем законам этого мира, должен был быть тупик, ржавчина, смерть.

Но тупика не было.

Была дверь. Открытая. И за ней — свет. Тёплый. Янтарный. Свет, которого не бывает на дне океана, свет, который бывает только на коже любовника в полдень, когда ставни полуоткрыты и воздух пахнет нагретым деревом.

Она поплыла к нему. Вода обтекала её тело, и Мара подумала, что, может быть, это и есть свобода — не выбирать направление, а просто перестать бояться глубины.

Три недели спустя в Танжере пахло так, как пахнет чужая жизнь, в которую вошёл без приглашения: жареным миндалём, дизельным выхлопом, потом, нагретой пылью и сладковатой гнилью фруктов, забытых на солнце. Мара сидела в углу таверны, где потолочный вентилятор мешал воздух, но не охлаждал его, и пот стекал по её виску, по шее, исчезал под воротником рубашки, и это было хорошо, это было настоящее — тепло, тело, влага, которая принадлежит только тебе.

Она была жива. Загорелая, с новым шрамом на предплечье, тонким и розовым, как свежая царапина на коре дерева. Волосы отросли, щекотали уши. Ногти снова были обкусаны. На пальцах — машинное масло, въевшееся в кожу так глубоко, что, казалось, стало частью её, новым узором, новой картой.

Нож вошёл в воск печати легко, почти нежно. Мара разворачивала чужое письмо медленно, как раздевают того, кого хотят запомнить. Бумага была плотная, кремовая, пахла сандалом и чем-то ещё — горьким, травяным, неуловимым. Запах чужого дома. Чужой постели.

Она прочла одну строку. Только одну.

И лицо её изменилось. Не сразу. Сначала — лёгкое движение бровей, как рябь на воде от брошенного камня. Потом губы сжались, и она почувствовала, как внутри, где-то за грудиной, сжалось что-то маленькое и горячее, как тот свет в колбе. Страх. Настоящий, чистый, без примеси злости. Давно забытое чувство.

Она всё ещё жива.

Мара встала так резко, что стол качнулся, и стакан с мутным чаем опрокинулся, и горячая жидкость потекла по дереву, капая на её босые ступни, но она не почувствовала. Она шла к двери, к свету, к крикам чаек и рёву моторов, к чужому городу, который пах свободой и нематыми телами, и в дверях столкнулась с ним.

Он стоял так, будто ждал. Не час. Не день. Годы. Льняной

костюм, помятый жарой, как кожа после долгого сна. Глаза разного цвета — один карий, тёплый, как остывающий чай, другой — серый, холодный, как вода того трюма. Он смотрел на неё, и в его взгляде было что-то до неприличия узнающее, будто он видел её не впервые, а снова, как видят во сне то, что уже забыл наяву.

— Вы опоздали на двадцать лет, мисс, — сказал он. Голос был низкий, медленный, с акцентом, который она не смогла определить. — Но, полагаю, лучше поздно.

Он протянул ей колбу. Вторую. Точно такую же. Внутри пульсировало голубое, живое, тёплое. Свет лёг на её ладонь, на запястье, на тот самый шрам-змеюку, и она почувствовала тепло стекла сквозь пальцы, как чувствуют пульс чужого человека, прижавшись щекой к его груди.

— Ваш отец просил передать: она всё ещё жива.

Мара взяла колбу. Руки не дрожали. В таверне кто-то засмеялся, кто-то стукнул стаканом о стол, и жизнь продолжалась, глупая, горячая, равнодушная, а Мара стояла в дверях, и жара Танжера обнимала её за плечи, и солнце било в глаза, и она сказала:

— Мой отец мёртв.

Незнакомец улыбнулся. Медленно. Так улыбаются те, кто знает, что смерть — не стена, а дверь. Открытая. За которой свет, которого не бывает на дне.

— Да, — согласился он. — Именно поэтому он и смог это написать.

И Мара стояла в дверях, и пот стекал по её спине, и колба грела ладонь, и где-то далеко, за морем, за песками, за всеми картами, на которых чьё-то имя, билось что-то живое, что-то безымянное, что-то, ради чего стоит нырнуть в глубину и не бояться, что воздуха не хватит.

Потому что его и не должно хватать. В этом весь смысл.

Глава 2

Ильяс ушёл, не обернувшись. Его льняной костюм растворился в толпе порта, как растворяется соль в тёплой воде — медленно, без следа, будто его и не было. Мара стояла у борта, прижимая колбу к груди, и чувствовала, как стекло остывает в ладонях, как пульс существа внутри становится тише, ровнее, будто и оно устало.

Город лежал за спиной. Танжер дышал жарой, даже сейчас, когда солнце ушло за горизонт и воздух стал густым, фиолетовым, пахнущим жареным миндалём и дизельным выхлопом. Мара шла не к парому. Не к причалу, где Ильясу было велено её посадить. Она шла вдоль воды, туда, где фонари горели реже, где голоса становились тише, где море касалось камня не с плеском, а с шёпотом, почти с просьбой.

Ей нужно было тело. Не своё. Чужое. Живое. Тёплое. Ей нужно было почувствовать чужие руки на своей коже, чтобы убедиться, что она ещё здесь, что трюм, и вода, и ныряние в темноту — не сон, не предсмертная галлюцинация, а правда. Что она вынырнула. Что она жива и стоит на твёрдой земле, и земля эта пахнет рыбой и пылью, и чьим-то потом, и нагретым за день камнем.

Она нашла его у лодочного сарая. Не искала — нашла, как находят то, что нужно, когда перестаёшь искать. Он сидел на перевёрнутой лодке, чинил сеть, и его пальцы двигались

в полутьме медленно, уверенно, как пальцы музыканта, который не смотрит на струны. Смуглая кожа. Тёмные волосы, короткие, выющиеся, мокрые от моря. Рубашка расстёгнута до солнечного сплетения, и в вырезе видна грудь — не грудь юноши, но и не старика. Грудь человека, который много дышал морским воздухом, много поднимал, много молчал.

Он поднял глаза. Посмотрел на неё. Не удивился. Не спросил. Словно ждал. Словно каждая женщина, которая приходит к морю ночью, приходит именно к нему, и это естественно, как прилив, как соль на губах.

Мара села рядом. Не близко. На расстоянии вытянутой руки. Колбу она поставила между ними, на песок, и существо внутри осветило их снизу мягким голубым светом, и в этом свете его лицо стало рельефным, глубоким, как лицо на старинной гравюре.

Он не спросил, что это. Не потянулся. Не отодвинулся. Просто посмотрел на колбу, потом на неё, и его взгляд был долгий, спокойный, без вопроса. Взгляд человека, который видел столько, что удивление стало роскошью, которую он не мог себе позволить.

— Как тебя зовут? — спросила Мара. Голос был хриплый, чужой.

Он улыбнулся. Улыбка была медленная, тёплая, как остывающий песок под ладонью. Покачал головой. Не сказал. Безмянный. Поиграй со мной. И это было правильно. Это было единственно верное, что

могло случиться этой ночью. Не имя. Не история. Не вопрос «откуда ты» и не ответ «куда идёшь». Только кожа. Только дыхание. Только это мгновение, которое не нужно никому, кроме них двоих, и которое не будет записано ни на одной карте.

Он протянул руку. Коснулся её запястья. Там, где шрам-змейка. Его пальцы были шершавые, с мозолями от верёвок, и эта шершавость была как правда — грубая, настоящая, без лжи. Он провёл подушечкой большого пальца по шраму, и Мара почувствовала, как что-то внутри неё, натянутое струной с того самого трюма, с той самой воды, с того самого ныряния, — чуть ослабло. Чуть выдохнуло.

Она наклонилась. Поцеловала его в шею. В то место, где пульс бился под кожей, горячий, живой. Его кожа пахла солью и рыбой, и солнцем, впитавшимся в поры за день, и чем-то ещё — древесным, горьковатым, как кора кедра. Она вдохнула этот запах, и он вошёл в неё, в лёгкие, в кровь, и стал частью её тела, как становятся частью тела воспоминания, которые не просил.

Его рука легла ей на затылок. Пальцы вошли в короткие волосы, мягко, без усилия, как входят в воду. Мара закрыла глаза. Темнота за веками была тёплой, янтарной, и в этой темноте она не была Марой, не была дочерью Георга, не была той, кто нырнул в трюм и нашёл дверь. Она была просто телом. Просто дыханием. Просто кожей, которая помнит, как это — когда тебя касаются без причины, без цели, без карты.

Он расстегнул её рубашку. Медленно. Пуговица за пуговицей. Как чинят сеть — терпеливо, не торопясь, зная, что каждый узелок важен. Ткань разошлась, и ночной воздух коснулся её груди, и это было почти больно — так остро, так ощутимо, как будто кожа проснулась после долгого сна. Его ладонь легла на её рёбра. Не на грудь. На рёбра. Как будто считал их. Как будто убеждался: вот, они здесь, все двенадцать, все целы, все настоящие.

Мара потянула его рубашку. Ткань подалась легко, старая, мягкая от множества стирок. Под ней — тело. Горячее. Не идеальное. С неровностями, с впадинами, с тонким белым шрамом на боку, похожим на её собственный. Она провела ладонью по его груди, по животу, и он вдохнул резко, коротко, и этот вдох был лучше любых слов, потому что был произвольным, не придуманным, не сыгранным.

Они легли на песок. Он был ещё тёплый от дня, и этот жар проникал в спину, в плечи, в затылок, и Мара подумала, что земля дышит, что она живая, что она обнимает их снизу, как обнимает всех, кто ложится на неё без страха. Колба стояла рядом, и существо внутри пульсировало в такт их дыханию, и голубой свет ложился на их переплетённые тела, делая их похожими на дно моря, на что-то подводное, светящееся, не принадлежащее суше.

Его губы на её плече. На ключице. На том месте у горла, где кожа тонкая и чувствуешь каждый поцелуй как ожог. Мара запрокинула голову, и волосы коснулись песка, и песок

был в волосах, на губах, на ресницах, и это было хорошо, это было настоящее, это было тело в мире, тело на земле, тело здесь.

Он вошёл в неё медленно. Не с напором. С вопросительной интонацией. Как будто спрашивал: можно? ты здесь? ты со мной? И Мара ответила не словами. Ответила бёдрами, дыханием, тем, как её пальцы сжались на его плечах, как ногти вошли в кожу, оставляя полумесяцы, маленькие карты, которые исчезнут к утру.

Они двигались не торопясь. Как дышат. Как движется вода — не к цели, а в себе, в своём ритме, в своей необходимости. Мара чувствовала его вес, его жар, шершавость его ладоней на своей талии, и думала, что это, может быть, и есть Безымянное место. Не пещера. Не существо в колбе. Не стёртая с карт точка. А вот это. Два тела на тёплом песке, без имён, без прошлого, без завтра. Только сейчас. Только кожа. Только дыхание, которое становится всё короче, всё горячее, всё ближе к тому порогу, за которым нет ни мысли, ни памяти, ни страха.

Его лоб на её лбу. Дыхание в дыхание. Глаза в глаза, и в его глазах не было ни вопроса, ни обещания. Только присутствие. Только я здесь, я в тебе, я с тобой, и этого достаточно, и этого всегда будет достаточно.

Мара закрыла глаза. И увидела — не вспышку, не воспоминание. Просто тепло. Просто свет. Не голубой, не янтарный. Белый. Чистый. Как первый снег, которого она не пом-

нила, но чувствовала. Как рука матери, которой не было. Как имя, которое не произнесли.

Она кончила тихо. Не криком. Выдохом. Длинным, дрожащим, как выдох человека, который слишком долго задерживал дыхание. Её тело выгнулось, и песок закрипел под лопатками, и колба рядом вспыхнула ярче, и существо внутри забилося, забилося, как будто и оно, за стеклом, почувствовало что-то, чего не могло назвать.

Он кончил следом. Уткнувшись лицом в её шею. Его дыхание обжигало кожу, и она чувствовала, как он дрожит, мелко, всем телом, и эта дрожь передавалась ей, и они дрожали вместе, как дрожит земля после подземного толчка, как дрожит вода, когда в неё бросают камень.

Потом — тишина. Море. Далёкий крик чайки. Шум порта, приглушённый, как чужой разговор за стеной. Его тело на ней, тяжёлое, тёплое, и она не хотела, чтобы он вставал. Хотела, чтобы осталось. Чтобы длилось. Чтобы это мгновение, в котором не было ни Георга, ни Лиры, ни Стирателей, ни Безымянного места, — чтобы оно длилось вечно, как длится дыхание во сне.

Он поднял голову. Посмотрел на неё. И в его взгляде было что-то такое — не любовь, не привязанность, не обещание. Что-то проще. Что-то древнее. Признание. Я видел тебя. Я касался тебя. Ты настоящая. Я настоящий. Этого достаточно.

Мара провела пальцем по его скуле. По губам. По тому месту на подбородке, где щетина кололась, как мелкий пе-

сок. Он поцеловал её палец. Кончик. Подушечку. Медленно. Как целуют то, что не хочешь отпускать, но знаешь — отпустишь.

Они лежали ещё долго. Пока песок не остыл. Пока колба не потускнела. Пока небо над ними не стало из фиолетового чёрным, и звёзды не высыпали, густые, низкие, близкие, как бывает только на юге, только у моря, только в ту ночь, когда ты не знаешь, что будет завтра, и не хочешь знать.

Он встал первым. Подобрал рубашку. Надел. Посмотрел на неё сверху вниз, и в его глазах была ночь, и соль, и что-то, похожее на благодарность. Он протянул ей руку. Помог встать. Его пальцы задержались на её запястье. На шраме. На одну секунду. Две.

Потом он повернулся и пошёл к лодке. К сети. К своим узелкам. Не обернулся. Не сказал ни слова. Не назвал себя. Безымянный.

Мара оделась. Подобрала колбу. Существо внутри спало. Пульс был ровный, тихий, умиротворённый. Она посмотрела на лодочный сарай, на перевёрнутую лодку, на тёмную фигуру, которая уже не смотрела на неё. Которая чинила сеть. Которая будет чинить сеть завтра, и послезавтра, и через год, и никогда не вспомнит её лица.

И это было правильно. Это было единственно верное.

Она пошла к парому. К причалу. К Ильясу, который ждал у трапа, скрестив руки на груди, с тем же спокойным, чуть усталым выражением лица.

— Вы опоздали, — сказал он. Не укоризненно. Констатируя.

Мара прошла мимо него. По трапу. На борт. Колба в руке была тёплой. Пульс существа совпадал с её собственным.

Она не обернулась. Не на Танжер. Не на лодочный сарай. Не на тело на песке, которого больше не было. Не на ночь, которая кончилась.

Паром дал гудок. Низкий, протяжный, как вздох. Моторы задрожали. Берег начал отплывать, и огни Танжера стали маленькими, далёкими, как звёзды, до которых не дотянуться.

Мара стояла у борта. Ветер пах солью и дизелем. В кармане лежал компас без стрелки. В руке — колба с чужой памятью. На губах — привкус чужой кожи. На теле — чужой запах, который исчезнет к утру, и чужие полумесяцы на плечах, которые исчезнут к полудню.

И имя, которого она не узнала. Которого не было. Которого не будет ни на одной карте.

Она всё ещё жива.

Мара прижала колбу к груди. Закрыла глаза. Паром шёл на юг. В темноту. В жару. В безымянное.

И она не боялась.

Впервые за двадцать лет — не боялась.

Глава 3

Грузовик пах бараньим жиром и соляжкой. Мара сидела в кузове, на мешках с мукой, и горы входили в неё медленно, как входит в тело долгий вдох — не сразу, не целиком, а слоями. Сначала — цвет. Красный. Охра. Глина, нагретая за день до того состояния, когда камень кажется живым, когда хочется прижаться к нему щекой и почувствовать пульс. Потом — воздух. Разреженный, сухой, пахнувший полынью и пылью. Потом — тишина. Не отсутствие звука, а присутствие чего-то огромного, безмолвного, старше любого имени.

Колба лежала у неё на коленях. Существо внутри светилось ровно, спокойно, но стоило грузовику свернуть не туда, уйти на юг вместо запада — свет тускнел, пульс замедлялся, и Мара чувствовала это не глазами, а кожей, тем местом под грудиной, которое не имеет названия. Стоило водителю взять нужный поворот — свет возвращался. Гуще. Теплее. Как кровь, приливающая к ране.

Компас в кармане грел бедро. Не обжигал. Грел. Как греет ладонь чашка чая в холодном доме. Как греет чужое плечо, к которому прижимаешься во сне. Мара достала его, открыла крышку. Фотография. Женщина с ребёнком. Вырезанное лицо. Она закрыла крышку. Убрала. Не сейчас. Не здесь.

Водитель высадил её у деревни, вросшей в склон горы, как

врастает в кожу заноза — глубоко, намертво. Красные стены. Плоские крыши. Дым из очагов, пахнувший можжевельником. И тишина. Та самая. Горная. Густая.

Мара шла по узкой улице. Колба в руке. Куртка на плечах. Пыль на ресницах. Она искала ночлег. Не искала ничего другого. Но тело, тело помнило Танжер. Песок. Чужие руки. Чужое дыхание на шее. И это воспоминание жило в ней, в мышцах, в том, как она сжимала бёдра, сидя на мешках с мукой, в том, как кожа тосковала по чужой коже, по тяжести, по шершавости, по тому простому животному факту, что кто-то здесь, кто-то настоящий, кто-то дышит рядом и не требует ни имени, ни карты, ни объяснений.

Она нашла его у колодца. Не его. Её.

Женщина лет тридцати. Или сорока. В горах возраст не читается в морщинах, а в руках, в том, как человек держит верёвку, как ставит кувшин. Смуглая. Широкая в плечах. Волосы убраны под платок, но на виске выбивается прядь, чёрная, тяжёлая. Она тянула ведро из колодца, и её предплечья были в буграх мышц, в мелких шрамах, в глине. Она увидела Мару. Не удивилась. Кивнула. Как кивают той, кто пришла пешком и устала, и которой некуда идти, кроме как вперёд.

— Ты одна? — спросила женщина. По-арабски, с берберским акцентом, гортанным, твёрдым.

— Одна.

— Идёшь?

— Не знаю куда.

Женщина улыбнулась. Не ртом. Глазами. Уголками. Так, как улыбаются те, кто знает: не знать куда — тоже дорога. Она поставила кувшин. Вытерла руки о подол. Протянула ладонь. Широкою. Тёплую. С мозолями.

— Заходи. Ночь будет холодной.

Дом был внутри горы. Не в пещере — в глине. Стены толстые, тёплые, пахнувшие землёй и дымом. На полу — ковры, вытертые, мягкие. В углу — очаг. В очаге — угли, ещё живые, ещё дышащие жаром. Женщина поставила чайник. Разлила чай в маленькие стаканы. Подала Маре. Пальцы коснулись пальцев. Задержались. На секунду. Две. Не случайно.

Мара пила чай. Горячий, мятный, сладкий до боли в зубах. Женщина сидела напротив. Смотрела. Не расспрашивала. Не спрашивала имени. Не спрашивала, откуда и зачем. Смотрела так, как смотрят на огонь, на воду, на то, что не нужно называть, чтобы оно было.

— У тебя что-то светится, — сказала женщина. Не вопрос. Утверждение. Кивок на колбу, которую Мара поставила на ковёр рядом. Существо пульсировало голубым, и свет ложился на стены, на ковёр, на их лица, делая всё подводным, медленным, нереальным.

— Память, — сказала Мара. Не объяснила. Не стала.

Женщина кивнула. Приняла. Не потребовала больше.

Она встала. Подошла. Села рядом с Марой. Не напротив. Рядом. Так близко, что их плечи почти касались. По-

чти. Между ними — полоска воздуха, тёплого, пахнущего мятой и глиной. Мара чувствовала её тепло. Не прикосновение. Тепло. Как чувствуешь солнце сквозь закрытые веки.

Женщина протянула руку. Коснулась щеки Мары. Тыльной стороной пальцев. Медленно. Как касаются чего-то хрупкого, чего-то, что может рассыпаться. Мара закрыла глаза. И вдохнула. И в этом вдохе был запах глины, и дыма, и чужой кожи, и мяты, и чего-то ещё, глубже, древнее, чего не назовёшь, но узнаёшь телом, как узнаёшь воду, когда падаешь в неё после долгой жажды.

— Ты устала, — сказала женщина. Не вопрос.

— Да.

— Тогда не думай.

Она проснулась от звука. Не от крика. От тишины. От той особенной тишины, которая бывает перед тем, как тишину разрывают.

Женщина уже стояла. У окна. Смотрела. Её тело было напряжено, как натянутая верёвка. Мара подошла. Встала рядом. Посмотрела.

Внизу, по дороге, шли трое. Серые пальто. Утренний туман. На запястьях — татуировки, видимые даже отсюда: переречёркнутый компас. Стиратели.

Женщина повернулась. Посмотрела на Мару. Не сказала: беги. Не сказала: уходи. Просто взяла её за руку. Сжала. Крепко. До боли. И отпустила.

— Задняя дверь. Тропа вверх. Не останавливайся.

Мара кивнула. Подобрала колбу. Компас. Куртку. Повернулась. И остановилась. Посмотрела на женщину. На её руки. На её лицо. На то место на виске, где выбивалась прядь.

— Как тебя зовут? — спросила Мара.

Женщина улыбнулась. Уголками глаз. Не ртом.

— Иди, — сказала она. — И не нужно.

Безымянная.

Мара вышла. В холод. В глину. В горы.

Тропа была узкая. Красная глина под босыми ногами — ботинки остались в доме. Колба в руке. Компас в кармане. Сзади — шаги. Не торопливые. Уверенные. Шаги тех, кто знает: ты не уйдёшь.. Стиратели не бегут. Стиратели идут. Медленно. Неотвратно. Как идёт вода в трюм.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.